12+

ВИКТОР ВОХМИН

ДОРОГА КИТОВ

Виктор Вохмин

Дорога китов

«Издательские решения»

Вохмин В.

Дорога китов / В. Вохмин — «Издательские решения»,

Юный скальд Хальвар Эгильссон теряет семью и дом в огне, зажжённом по воле безжалостного ярла. С обожжённой рукой и памятью, полной имён погибших, он отправляется в путь, где море становится дорогой к мести, а слово — оружием не менее опасным, чем меч. На фоне сурового мира викингов Хальвару предстоит узнать цену верности, предательства и власти, а также понять, что страшнее самой смерти — жить с её последствиями.

© Вохмин В.
© Издательские решения

Содержание

Пролог 6
Часть I. ПЕПЕЛ 7
Глава 1. Серебро ярла 7
Глава 2. Огонь с моря 12
Глава 3. Волчья нора 15
Глава 4. Дорога китов 19
Глава 5. Каменный холл 23
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Дорога китов

Виктор Вохмин

© Виктор Вохмин, 2026

ISBN 978-5-0071-5512-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Меня зовут Хальвар Эгильссон. Это имя дали мне при рождении, и оно всё ещё держится за меня, хотя остальные имена давно отвалились, как шелуха с луковицы. Кто-то звал меня Кривым. Кто-то — Волчьим Языком. Кривым я назвался сам, когда пришёл в Тронхейм: рука после пожара была кривая, и это имя было удобнее правды. Волчий Язык прилип позже, после песни, которую я спел на йоле. Я не выбирал его. Но и не спорил. Я думал, что язык, который кусает, — это оружие. Я не понимал, что волк кусает не только врагов. До сих пор я стыжусь той песни больше, чем иных своих поступков.

Теперь я стар. Зимы стали короче, но каждая из них длится дольше. Пальцы у меня скрючило, левая рука почти не слушается, а на правой, между большим пальцем и мизинцем, лежит шрам — гладкий, как рыбья кость. Этот шрам я получил в ту ночь, когда сгорел мой дом.

Моя внучка Астрид сидит у очага и смотрит на меня. Ей двенадцать. У неё глаза моей матери и упрямство её отца. Она уже знает, что старики любят говорить, но ещё не знает, что старики врут не потому, что забыли правду, а потому, что помнят её слишком хорошо.

— Деда, — говорит она, — а ты убивал?

В очаге трещит сырое дерево. За стеной воет ветер, и мне кажется, что это не ветер, а море. Море всегда рядом, даже когда его не видно.

— Убивал, — говорю я.

— Много?

— Достаточно, чтобы запомнить каждого.

Она молчит. Хорошая девочка. Умеет ждать.

— А тебе было страшно?

— Было.

— А сейчас?

— Сейчас страшнее.

Она хмурится, не понимает. Я и сам не сразу понял. Убить человека — это как бросить камень в воду. Страшно не когда бросаешь. Страшно потом, когда круги доходят до берега, и ты видишь, кого они сбили с ног.

— Расскажи, — просит она. — Как ты убил ярла.

Я смотрю на рунический посох, что стоит у стены. Он старый, потемневший, с трещиной посередине. Когда-то на нём были вырезаны имена. Теперь они стёрлись до царапин, но я помню их наизусть.

— Я не убил ярла, — говорю я.

Она поднимает брови.

— Но ты же…

— Я убил его сына. Это другое.

— Чем другое?

— Тем, что сын не сделал мне ничего плохого.

Ветер бьёт в стену. Астрид подвигается ближе к огню. Я наливаю себе пива, хотя мне уже нельзя, и она делает вид, что не замечает. Хорошая девочка. Я поднимаю рог.

— Слушай, — говорю я. — Слушай, как всё было. Только не перебивай, когда я буду врать. Я буду врать не для того, чтобы ты меня пожалела. Я буду врать для того, чтобы ты поняла, каким я был на самом деле.

Она кивает.

И я начинаю.

Часть I. ПЕПЕЛ

Глава 1. Серебро ярла

Мне было семнадцать, когда я в последний раз сидел за отцовским столом.

Стол был длинный, из еловых досок, с трещиной посередине. В трещину вечно падали крошки, и мать ругалась, что мы кормим не только себя, но и домовых. Отец говорил, что домовые — тоже родня, просто об этом не принято говорить вслух. Халла, моя сестра, верила. Сигурд, мой брат, нет. Я делал вид, что верю, потому что за это давали лишний кусок хлеба.

Наша усадьба называлась Бьёрнстейн — Медвежий Камень. Она стояла на склоне над Хардангер-фьордом, в дне пути от моря, если идти пешком, и в двух, если гнать скот. С одной стороны был лес, с другой — река, которая зимой замерзала так, что по ней можно было перейти, не замочив ног. За рекой начинались чужие земли. Чужие земли всегда начинаются за рекой.

Дом был длинный, тёмный, с земляным полом и двумя очагами. Вдоль стен тянулись лавки, застеленные шкурами. Над лавками висели щиты, секиры, рога для питья и сушёная рыба. Рыба пахла так, что чужие люди морщились, а мы уже не замечали. В углу, у самого почётного места, стоял отцовский сундук, окованный железом. В нём лежали серебро, воск, соль и три книги. Книги были не наши. Отец выменял их у монаха за двух быков и никогда не открывал. Он говорил, что книги — как чужие жёны: смотреть можно, трогать не надо.

Мой отец, Эгиль, был резчиком рун. Это не то же самое, что скальд. Скальд слагает песни, а рунщик вырезает память. Отец вырезал имена на камнях, на посохах, на дверных косяках. Он говорил, что руны не колдуют. Колдуют люди, а руны помнят. Когда человек умирает, его имя остаётся в камне, и пока камень цел, человек не совсем ушёл. Я не знаю, правда ли это. Я знаю, что камни переживают людей. Это единственное, в чём я уверен до сих пор.

На стене, над отцовским местом, висел рунический посох. Он был сделан из ясеня, гладкий, тёмный от времени, с трещиной посередине. На нём отец вырезал имена нашего рода: деда, прадеда, прапрадеда, чьи имена я уже не помню, и своё имя. Моё имя он вырезал последним, когда мне было семь. Я помню, как он взял мою руку и провёл резцом по дереву. Я помню, как пахла стружка. Я помню, как он сказал: «Теперь ты здесь. Не потеряйся».

У меня была плохая память на лица и хорошая на слова. Это странно, но это так. Я мог забыть, как выглядит человек, с которым ел за одним столом, но помнил каждую глупость, которую он сказал. Отец говорил, что это проклятие. Мать говорила, что это дар. Сигурд говорил, что это просто лень: я не запоминаю полезное, потому что мне лень работать.

Сигурд был старше меня на пять лет. Он был широкий, как дверь, и такой же тяжёлый. Он мог поднять мешок с зерном одной рукой и швырнуть его через двор. Он не любил песни, но слушал их, когда думал, что никто не видит. Халла была младше меня на семь лет. Ей было десять. Она ходила за мной, как щенок, и задавала вопросы, на которые у взрослых не было ответов. Почему у Грима один глаз? Почему солнце не падает? Почему у ярла так много серебра, а у нас мало? На последний вопрос отец ответил: «Потому что ярл умеет брать, а мы умеем держать». Халла подумала и сказала: «Тогда нам надо научиться брать». Отец засмеялся. Он редко смеялся.

Мать звали Астрид. Она была родом из Согна, из семьи, которая когда-то была богатой, а потом стала просто уважаемой. Она принесла в дом два сундука, четыре коровы и привычку всё считать. Она считала дни до весны, считала запасы, считала, сколько мы можем отдать и сколько должны оставить. Она говорила, что мужчины считают только врагов, а женщины —

всё остальное. У неё были тёмные волосы и руки, которые никогда не отдыхали. Я до сих пор помню, как она месила тесто: сильно, зло, будто тесто было виновато в чём-то.

В тот день она пекла хлеб. Пахло дрожжами и дымом. За окном шёл первый снег, редкий, мокрый, он таял, не долетая до земли. Я сидел на лавке и левой рукой вырезал на ложке узор, который мне не давался. Отец сидел напротив и чинил сеть. Сигурд носил воду. Халла играла на полу с деревянной куклой, у которой не было лица. Мать говорила, что лицо надо оставить кукле на потом, чтобы она сама выбрала, кем хочет быть.

Потом во дворе залаял Грим.

Грим лаял на всё: на ворон, на овец, на ветер. Но у него было три разных лая. На ворон — короткий, презрительный. На ветер — долгий, жалобный. На людей — злой, с рычанием. В тот раз он рычал.

Сигурд подошёл к двери и выглянул.

— Всадники, — сказал он. — Шестеро. С ними повозка.

Отец не поднялся. Он только отложил сеть и сказал:

— Ульв.

Ульв был стюардом ярла Сигтрюгга. Он приезжал два раза в год: весной за данью и осенью за данью. Иногда он приезжал просто так, чтобы напомнить, что может приехать. Он был толстый, краснолицый, с бородой, которую расчёсывал так, будто она была чужим сокровищем. Он любил говорить «ярл так решил», даже когда решал он сам. Отец говорил, что Ульв — это не человек, а рука ярла. А рука, говорил он, не отвечает за то, что делает голова.

Мы вышли во двор. Снег уже лежал на крыше, тонкий, как соль на хлебе. Ульв слез с коня тяжело, как мешок с репой. За ним стояли шестеро. У троих были копья, у двоих — секиры, у одного — меч. Меч был длинный, с блестящей рукоятью. Я подумал, что этот человек, наверное, главный. Потом понял, что главный — Ульв, а меч просто принадлежит тому, кто умеет им пользоваться.

— Эгиль из Бьёрнстейна, — сказал Ульв. — Я привёз слово ярла.

— Говори, — сказал отец.

— Ярл Сигтрюгг просит двойную дань.

Отец молчал. Мать вышла на крыльцо, вытирая руки о передник. Сигурд встал у двери, широко расставив ноги. Халла выглянула из-за его спины. Я стоял в стороне, у бочки с дождевой водой, и чувствовал, как холод пробирается под рубаху.

— Двойную, — повторил Ульв. — За то, что ярл защищает вас от врагов.

— Каких врагов? — спросил отец.

— Разных, — сказал Ульв. — Разве мало? В прошлом году в Согне сожгли три усадьбы. В позапрошлом — четыре. Ярл не может воевать без серебра.

— Ярл не воюет, — сказал отец. — Ярл сидит в Ситтедале и ест.

Ульв улыбнулся. Улыбка у него была как трещина в горшке: вроде есть, а толку нет.

— Эгиль, — сказал он. — Ты умный человек. Ты знаешь закон. Двойная дань — это не закон. Это просьба. Но если ты откажешь, ярл может подумать, что ты не уважаешь его. А если ярл так подумает, он может приехать сам. И тогда ты будешь говорить с ним, а не со мной.

— Пусть приедет, — сказал отец.

Мать сказала:

— Эгиль.

Она сказала это тихо, но все услышали. Отец не обернулся.

— У меня есть законная дань, — сказал он. — Две меры зерна, одна мера масла, три шкуры, один баран. Я отдам это. Больше не отдам.

Ульв посмотрел на повозку. В повозке лежали пустые мешки. Он думал, что мы отдадим всё, что он скажет. Он привык, что люди отдают.

— А если ярл заберёт твою дочь? — спросил он. — В счёт долга.

Халла вцепилась в рукав Сигурда. Сигурд шагнул вперёд, и снег под его ногой хрустнул.

— Попробуй, — сказал он.

Ульв не посмотрел на него. Он смотрел на отца.

— Я не угрожаю, — сказал он. — Я предупреждаю. Ярл любит красивых детей. Они хорошо служат. И хорошо едят.

Я не помню, что я почувствовал. Я помню, что мои руки стали холодными, а голова — горячей. Я вышел вперёд, прежде чем отец успел меня остановить.

— Ульв, сын Ульва, — сказал я. — Можно мне сказать?

Ульв посмотрел на меня, как на пса, который научился говорить.

— Скальд, — сказал он. — Ну скажи.

И я сказал:

— Ульв пришёл за серебром,
сам серебром не пахнет.
Брюхо у Ульва — как бочка,
а смелость — как дыра в бочке.

Один из его людей фыркнул. Это было ошибкой. Ульв услышал. Он медленно повернул голову, и снег на его бороде казался сединой, которой он не заслужил.

— Это ты сам придумал? — спросил он.

— Ночью, — сказал я. — Пока вы спали.

— Я не спал, — сказал Ульв. — Я считал дань.

— Тогда я придумал это утром, — сказал я. — Пока вы завтракали.

Люди Ульва молчали. Но я видел, что двое из них улыбаются. Ульв увидел это тоже. Он покраснел так, что даже снег на его лице, кажется, стал розовым.

— Хорошо, — сказал он. — Я запомню.

Он повернулся к отцу.

— Я вернусь через три дня. С ярлом или без. Но вернусь. И тогда мы посмотрим, кто из твоих сыновей умеет петь, а кто — держать секиру.

Он сел на коня. Это заняло время. Конь был старый и не любил, когда на него садились. Ульв дёрнул повод, и конь пошёл, увязая в снегу. Люди пошли за ним. Тот, с мечом, обернулся и посмотрел на меня. У него были светлые глаза, как у рыбы. Я запомнил его лицо. Я тогда не знал, что это лицо мне ещё пригодится.

Когда они уехали, отец подошёл ко мне и взял меня за ухо. Не сильно. Так, чтобы я почувствовал.

— Ты думаешь, язык — это меч? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — Меч тяжелее.

Он отпустил ухо. В его глазах было что-то, чего я не понял. Теперь я знаю: это был страх.

— Язык — это ложка, — сказал он. — Ею можно накормить, а можно подавиться. Сегодня ты подавился. И нас чуть не подавил.

— Он угрожал Халле, — сказал я.

— Он угрожал всем, — сказал отец. — Но угроза — это ещё не секира. Ты превратил угрозу в долг. Теперь он не может уехать просто так. Теперь ему нужно вернуться.

Мать сказала:

— Хватит. Мальчик сказал правду.

— Правда — это не всегда то, что говорят вслух, — сказал отец.

Он ушёл в дом. Сигурд хлопнул меня по плечу, так что я присел.

— Хорошая песня, — сказал он. — Только в следующий раз пой её, когда я стою с секирой.

Халла посмотрела на меня снизу вверх.

— А Ульв правда как бочка?

— Правда.

— А дыра в бочке — это что?

— Это где смелость, — сказал я. — Её там нет.

Она засмеялась. Я тоже засмеялся. Тогда я ещё думал, что смех — это щит.

Вечером приехал Огмунд.

Огмунд был братом отца, но они были не похожи. Отец был широкий, молчаливый, с руками, которые всегда что-то делали. Огмунд был тонкий, суетливый, с быстрыми глазами и мягким голосом. Он владел землёй за рекой, той самой, что начиналась сразу за водой. У него было две дочери и сын, которого он назвал Эгилем в честь брата. Отец говорил, что это лесть. Я думал, что это просто глупость.

Огмунд вошёл в дом, стряхнул снег с плаща и сразу сказал:

— Я слышал, Ульв был у тебя.

— Был, — сказал отец.

— И ты отказал.

— Отказал.

Огмунд сел на лавку, не дожидаясь приглашения. Мать поставила перед ним рог с пивом. Он взял его обеими руками и стал пить маленькими глотками, как будто пиво было горячим.

— Эгиль, — сказал он. — Заплати.

— Нет.

— Заплати двойную. Я дам тебе серебра. Потом отдашь.

Отец посмотрел на него.

— Зачем тебе это?

— Зачем? — Огмунд улыбнулся. — Мы братья.

— Мы братья, — сказал отец. — А земля у нас разная. И серебро разное.

Огмунд поставил рог. Улыбка осталась на его лице, но глаза стали другими.

— Ты всегда так, — сказал он. — Ты всегда думаешь, что кто-то хочет тебя обмануть.

— А разве нет?

— Я хочу помочь.

— Тогда помоги мне собрать людей, — сказал отец. — Если ярл придёт, нам понадобятся люди.

Огмунд молчал. Он смотрел в огонь. Огонь отражался в его глазах, и от этого казалось, что внутри у него тоже что-то горит.

— У меня мало людей, — сказал он наконец. — И они не любят драться за чужое.

— За чужое не любят, — сказал отец. — За своё любят. Но моё — это и твоё, пока мы братья.

Огмунд поднялся.

— Я поеду, — сказал он. — Пока не стемнело.

Он надел плащ. У двери он обернулся и посмотрел на рунический посох. Слишком долго. Так смотрят на женщину, которую хотят, но не могут взять.

— Отец оставил бы тебе землю, а мне — посох, — сказал он.

— Отец оставил мне то, что я умею, — сказал отец. — А тебе — то, что ты хочешь.

Огмунд вышел. Дверь закрылась. Мать сказала:

— Он что-то задумал.

— Он всегда что-то задумывает, — сказал отец. — Это его ремесло.

Ночью отец разбудил меня.

Я спал на лавке у стены, укрытый овчиной. Он потряс меня за плечо. Я открыл глаза. В доме было темно, только угли в очаге светились красным. Отец стоял надо мной с посохом в руках.

— Вставай, — сказал он. — Тихо.

Я встал. Он сунул мне посох. Дерево было холодное и гладкое, как кость.

— Отнеси это в Волчью нору, — сказал он. — Туда, где мы нашли волчат. Знаешь?

Я кивнул. Волчья нора была в лесу, в часе ходьбы от усадьбы. Там была пещера, в которой когда-то жила волчица. Мы нашли её щенят, но отец не дал их убить. Он сказал, что волки — это тоже родня, просто об этом не принято говорить вслух.

— Почему сейчас? — спросил я.

— Потому что я так сказал.

— Отец…

— Слушай меня. — Он взял меня за плечи. Его руки были горячие, будто он держал их над огнём. — Если я не приду к утру, ты пойдёшь к морю. Найдёшь Торкеля. У него лодка. Скажешь: «Медвежий Камень горит». Он поймёт. И не возвращайся. Слышишь? Не возвращайся.

— А мать? А Халла?

Он молчал. Я видел его лицо в темноте, и оно было не страшным, а старым. Я впервые заметил, что он старый.

— Я их выведу, — сказал он. — Если смогу. А ты сохрани посох.

— Я не хочу уходить.

— Я не спрашиваю, чего ты хочешь.

Он открыл дверь. В лицо ударил холод. Снег уже шёл сильнее, и двор был белый, как чистое полотно. Грим спал у сарая, свернувшись клубком. Он поднял голову, посмотрел на нас и снова опустил.

— Иди, — сказал отец.

Я вышел. Посох был длиннее, чем я помнил. Я нёс его, как копьё. Снег забивался в рукава, в сапоги, за шиворот. Я шёл через двор, мимо бочки с водой, мимо клети, мимо старой яблони, которая никогда не давала яблок. У калитки я обернулся.

Отец стоял в дверях. За его спиной был свет очага. Мать стояла рядом с ним, держа Халлу на руках. Сигурд был чуть дальше, у стены, и я видел, что у него в руке секира. Они не махали мне. Они просто смотрели.

Я хотел вернуться. Я хотел бросить посох в снег и сказать, что никуда не пойду. Я хотел сказать отцу, что он не прав, что мы можем драться вместе, что нас четверо, а не один. Я хотел сказать, что я боюсь.

Я не сказал ничего. Я повернулся и пошёл в лес.

За спиной было тихо. Потом Грим залаял. Потом залаял второй раз, и третий, и его лай оборвался.

Потом я услышал рог.

Он звучал низко и долго, как будто кто-то трубил в пустую бочку. Я знал этот звук. Так трубили люди ярла, когда шли за данью.

Я стоял на тропе, в снегу, с отцовским посохом в руках, и смотрел, как над лесом поднимается красное зарево.

Глава 2. Огонь с моря

Я бежал назад.

Снег был по колено, и каждый шаг отдавался в груди ударом. Я нёс посох, потом вспомнил, что отец велел спрятать его, и свернул к пещере. Волчья нора была в скале над ручьём, за тремя старыми елями. Я засунул посох под камень у входа, присыпал снегом и хвоей, запомнил место — три шага от ели, там, где камень похож на спящую собаку, — и побежал дальше.

Я не думал. Если бы я думал, я бы остался в лесу. Мысль — это то, что приходит после. До этого есть только кровь в ушах и запах дыма.

Дым я почуял раньше, чем увидел огонь. Он был сладкий и горький одновременно, как горелая репа. Потом лес кончился, и я вышел на край поля.

Усадьба горела.

Горел дом — весь, от крыши до основания. Огонь выходил из окон, как будто внутри сидели огромные звери и дышали. Горел сарай. Горела клеть. Горел стог сена, и искры от него летели в небо, где не было ни звёзд, ни луны, только красное, как кровь, свечение.

Люди ярла стояли вокруг. Их было больше, чем шесть. Двенадцать, может, пятнадцать. У некоторых были факелы. У некоторых — секиры. Они не кричали. Они делали свою работу молча, как косцы.

Я увидел Сигурда.

Он лежал у колодца, лицом в снег, и снег вокруг него был чёрным. В руке у него была секира. Он успел кого-то ударить: у сарая лежал человек ярла, и из его груди торчало древко. Сигурд лежал на животе, и я видел, как из-под его плеча вытекает тёмная струйка и исчезает в снегу. Я хотел подбежать. Я хотел перевернуть его. Я хотел сказать ему, что он не прав, что он обещал стоять со мной, что он не может умереть, потому что он всегда был сильнее меня.

Я не подбежал. Я стоял за бочкой у калитки, и ноги у меня не двигались.

Потом я увидел отца.

Он был у дверей дома. Дверь была открыта, и из неё валил дым. Отец стоял на коленях. В одной руке у него была секира, в другой — ничего. Он был ранен в бок, и рубаха на нём была мокрая и чёрная. Перед ним стоял Ульв.

Ульв держал факел. Он смотрел на отца, и лицо у него было не злое, а задумчивое, как у человека, который решает, сколько заплатить за рыбу.

— Эгиль из Бьёрнстейна, — сказал Ульв. — Ты мог отдать серебро.

Отец поднял голову. Я видел его лицо в свете огня. Оно было спокойное. Я никогда не видел его таким спокойным.

— Я отдал тебе законное, — сказал он. — Остальное — не твоё.

— Теперь всё моё, — сказал Ульв.

Он поднял секиру.

Я закричал. Я не помню, что я кричал. Наверное, «нет». Наверное, «отец». Наверное, что-то, чего не было ни в одной песне.

Ульв ударил. Один раз. Секира вошла отцу в шею, и он упал набок, медленно, как дерево, которое долго не хотели рубить.

Я побежал.

Я не знаю, как я оказался у дома. Я помню, что бежал, и помню, что кто-то схватил меня за ворот. Я помню, как меня ударили по голове. Не сильно, но так, что в глазах стало бело. Я упал на колени. Снег был мягкий. Мне хотелось лечь в него и закрыть глаза.

Потом я услышал Халлу.

Она не кричала. Она звала меня.

— Хальвар, — говорила она. — Хальвар.

Её голос был тонкий, как нитка. Я поднял голову.

Их выводили из дома. Мать шла сама. Она держала Халлу за руку. У матери была разбита губа, и кровь текла ей на подбородок, но она шла прямо, высоко подняв голову. Она смотрела перед собой, и в её глазах не было страха. Только злость.

Халла увидела меня. Она рванулась ко мне. Человек, который её держал, дёрнул её назад.

— Хальвар! — закричала она.

Мать обернулась. Она увидела меня. Её губы шевельнулись. Я прочитал слово: «Беги».

Потом я увидел ярла.

Он сидел на коне в стороне и не двигался. На нём был тёмный плащ, отороченный мехом, и на плечах — серебряные кольца. Он был высокий, седой, с длинной бородой, заплетённой в две косы. Лицо у него было узкое, умное, усталое. Он смотрел на горящий дом так, как смотрят на море перед бурей: без удивления, без радости, потому что знаешь, что буря всё равно будет.

Он почти не отдавал приказов. Он просто сидел и смотрел. Но все делали то, что он хотел, даже когда он ничего не говорил. Я понял это тогда, в семнадцать лет, и не понял до конца. Власть — это не крик. Власть — это когда люди боятся тебя даже в твоём молчании.

Ульв подошёл к ярлу и что-то сказал. Ярл кивнул. Потом он посмотрел на меня.

Наши глаза встретились. Я стоял на коленях в снегу, с разбитой головой, а он сидел на коне, и между нами было двадцать шагов и целая жизнь. Он смотрел на меня без интереса. Как на щенка, который вылез из-под сарая.

— Этот? — спросил ярл.

— Скальд, — сказал Ульв. — Тот, что пел.

Ярл посмотрел на меня ещё раз. Потом сказал:

— Довольно крови. Возьмите женщин. Мальчика оставьте.

Ульв поклонился. Ярл повернул коня.

И тогда Ульв подошёл ко мне.

— Слышал? — сказал он. — Ярл велел тебя оставить.

Он улыбнулся. Потом взял меня за шиворот и потащил к сараю.

Сарай уже горел. Огонь шёл по крыше, гудел, как вода на порогах. Ульв открыл дверь и толкнул меня внутрь.

— Пусть ярл сам решает, — сказал он. — Я всего лишь рука.

Дверь закрылась. Я остался внутри.

В сарае было полно дыма. Он был горячий и густой, как мокрая шерсть. Я полз по земле, кашлял, искал выход. Сено горело. Я слышал, как трещит дерево. Я слышал, как снаружи смеются люди. Я слышал, как Халла зовёт меня.

Я пополз к стене. В стене была щель — между досками, там, где Сигурд прошлой осенью чинил обшивку. Он говорил, что не надо чинить, что скот всё равно сломает. Я тогда смеялся. Теперь я цеплялся за эту щель, как за имя.

Я ударил по доске. Она поддалась. Я ударил ещё. Огонь лизнул мою правую руку, и я закричал. Боль была белая, острая, как игла. Я рванулся, и доска отлетела. Я просунул голову, потом плечо. Что-то горящее упало мне на спину. Я выкатился в снег.

Я лежал у стены сарая, и снег подо мной таял. Рука была чёрная, в дыму, но я её чувствовал. Значит, живая.

Сарай рухнул за моей спиной. Огонь взметнулся вверх, и на секунду стало светло, как днём.

Я увидел повозку. Мать и Халлу уже посадили в неё. Мать смотрела на меня. Халла вырывалась и кричала. Люди ярла садились на коней. Ульв стоял у повозки и что-то считал на пальцах. Ярл уже ехал к лесу.

Я пополз.

Я не знаю, куда я полз. К повозке, наверное. К матери. К Халле. Ко всему, что у меня осталось.

Кто-то из людей ярла заметил меня. Он засмеялся и сказал что-то другому. Тот обернулся. Я видел, как он поднимает копьё. Я видел, как он целится. Я видел его лицо — молодое, весёлое, будто он собирался поймать рыбу.

Потом ярл крикнул:

— Оставь.

Копьё опустилось. Человек пожал плечами.

Повозка тронулась. Колёса заскрипели по снегу. Халла всё ещё кричала. Потом её голос стал тише. Потом ещё тише. Потом остался только треск огня.

Я лежал на краю двора, у бочки с дождевой водой, и смотрел, как умирает мой дом.

Крыша провалилась. Стены сложились внутрь, и из них вылетел сноп искр. На месте дома остался только красный круг, как открытая рана. Грим лежал у калитки, и я не сразу понял, что он мёртв, потому что он всё ещё смотрел в сторону леса, куда убежал я.

Я хотел встать. Я не мог. Я хотел плакать. Я не мог. Я лежал и смотрел, как снег падает на огонь и шипит.

Потом я услышал свой голос.

Я говорил имена. Я говорил их тихо, чтобы не забыть.

— Эгиль, отец Хальвара. Сигурд, сын Эгиля. Астрид, дочь Торда. Халла, дочь Эгиля. Бьёрнстейн. Медвежий Камень.

Я говорил их снова и снова, пока слова не потеряли смысл. Потом я сказал:

— Сигтрюгг, сын Скаллагрима.

Это имя я не забыл. Я не собирался его забывать. Я лежал в снегу, с обожжённой рукой, и впервые в жизни почувствовал, как из боли рождается песня. Она была ещё без слов, без размера, без голоса. Но она уже была. Она сидела у меня в груди, как зверь, который ждёт.

Я не знал, что делать с этой песней. Я не знал, что она сделает со мной.

Я закрыл глаза и услышал, как кто-то идёт по снегу.

Шаги были тяжёлые, неторопливые. Я подумал: Ульв вернулся. Я подумал: сейчас он меня убьёт. Я попробовал поднять руку, но она не слушалась.

Надо мной склонилось лицо. Старое, обветренное, с седой щетиной и одним глазом, второй был закрыт белым бельмом. От него пахло рыбой и дымом.

— Мальчик, — сказал Торкель. — Мальчик. Живой?

Я посмотрел на него. Я хотел сказать: «Медвежий Камень горит». Я хотел сказать: «Они забрали мать и Халлу». Я хотел сказать: «Отец мёртв».

Я сказал только:

— Сигтрюгг.

Торкель понял. Он посмотрел на горящий дом, на мёртвых, на следы копыт, уходящие в лес. Потом он поднял меня на руки. Он был старый, но сильный. От него пахло смолой и сетями.

— Молчи, — сказал он. — Молчи и держись.

Я держался. Я держался за его плечо, пока он нёс меня через поле к реке. За нами горел мой дом. Впереди была темнота. Над лесом поднимался дым, и мне казалось, что это море — чёрное море, которое пришло за нами.

Я не знал, что это только начало.

Я не знал, что самое страшное — не огонь.

Глава 3. Волчья нора

Торкель жил на берегу, в хижине, сложенной из плавника и дерна. Хижина была меньше нашей клети, но в ней помещалось всё, что ему было нужно: очаг, постель, стол, две сети, бочка с солёной рыбой и образ святого, вырезанный из дерева. Образ был кривой, без лица. Торкель говорил, что святой не обижается, потому что у него и так много дел.

Он промыл мне руку морской водой, потом мёдом, потом приложил мох и обмотал тряпкой. Боль была такая, что я кусал рукав. Торкель держал меня за плечо и говорил:

— Терпи. Терпи, мальчик. Боль — это хорошо. Значит, рука живая.

Я не хотел, чтобы рука была живая. Я хотел, чтобы всё было мёртвое. Я хотел лежать в снегу и не думать.

Он дал мне пива. Я выпил. Потом меня стошнило. Он вытер мне рот и дал ещё.

— Пей, — сказал он. — Пиво лечит.

— От чего?

— От жизни, — сказал он. — Немного.

Я спал два дня. Или три. Я не считал. Мне снился огонь. Во сне я стоял перед домом, а дом был цел, и отец сидел на крыльце, и Сигурд носил воду, и Халла играла с куклой. Я подходил к ним, и они не видели меня. Я кричал, и они не слышали. Потом дом загорался, и я просыпался.

На третий день, или на четвёртый, Торкель сказал:

— Корабль ушёл.

Я сидел на постели, придерживая руку. За окном было серо. Море было серое. Всё было серое.

— Какой корабль?

— Ярла. «Морской Волк». Ушёл на рассвете, вчера. С ним две женщины.

Я молчал.

— Мать твоя жива, — сказал Торкель. — Я видел её. Её вели по сходням. Она шла сама. Дочь несли. Девочка молчала.

— Куда их?

— В Тронхейм, — сказал он. — Или в Ситтедал. У ярла есть и то и другое. Он зимует в Тронхейме у Хакона, а летом сидит в Ситтедале. Так говорят.

Я встал. Голова закружилась, и я схватился за стену.

— Мне нужно идти.

— Куда?

— За ними.

Торкель посмотрел на меня. У него был один глаз, но этим глазом он видел больше, чем иные двумя.

— Ты не дойдёшь до конца берега, — сказал он. — А до Тронхейма — три недели пути, если по суше, и неделя, если по морю. У тебя нет ни лодки, ни серебра, ни людей. У тебя есть обожжённая рука и посох, которого нет.

— Посох есть, — сказал я. — В Волчьей норе.

— Тогда у тебя есть обожжённая рука и палка.

Я сел обратно. Он был прав. Я ненавидел его за то, что он был прав.

— Я убью его, — сказал я.

— Кого?

— Ярла.

Торкель не засмеялся. Он подбросил в очаг плавник и сказал:

— У ярла сто человек. У тебя — ложка и обожжённая рука. Как ты его убьёшь?

— Словом.

Он посмотрел на меня. В его глазах что-то изменилось. Не уважение. Что-то более осторожное.

— Словом можно убить, — сказал он. — Но не так, как ты думаешь. Слово не входит в грудь, как нож. Оно входит в уши другим людям и остаётся там. Если ты скажешь про ярла такое, что люди запомнят, он умрёт не сразу. Но он умрёт. Только сначала он убьёт тебя.

— Пусть попробует.

— Он попробует, — сказал Торкель. — И у него получится.

Он встал и снял с крюка связку сушёной рыбы.

— Завтра в бухту придёт «Тюлень». Торстейн Широкий. Он идёт в Исландию за шерстью и серой. Потом вернётся в Тронхейм. Если ты будешь работать, он тебя возьмёт.

— Я не могу работать. — Я показал руку.

— Будешь работать другой, — сказал Торкель. — Или языком. Торстейн любит песни. Он платит за песни.

— Я не скальд.

— Ты сын Эгиля, — сказал он. — Эгиль умел вырезать слова. Ты умеешь их говорить. Это не одно и то же, но иногда одно заменяет другое.

Я молчал. За стеной шумело море. Оно шумело всегда, но я слышал его только теперь.

— Почему ты помогаешь мне? — спросил я.

Торкель пожал плечами.

— Твой отец однажды дал мне лодку, когда моя сгнила. Я не забыл.

— Он не любил ярла.

— Эгиль не любил никого, кто считает чужое, — сказал Торкель. — Но ярла он не любил особенно.

Он взял фонарь.

— Пойдём. Заберём твой посох.

Мы шли через лес. Снег был глубокий, и я проваливался по колено. Торкель шёл впереди, и его фонарь качался, как маленькая луна. Лес был тихий. Он всегда был тихий зимой, но теперь его тишина казалась мне другой. Как будто лес знал, что случилось, и молчал из вежливости.

У Волчьей норы мы остановились. Я нашёл камень, похожий на спящую собаку, и раскопал снег. Посох был там. Он был холодный, тёмный, и на нём не было ни капли снега. Я взял его и почувствовал, как что-то в груди сжалось. Это была не радость. Это было узнавание.

— Хороший посох, — сказал Торкель. — Ясень?

— Ясень.

— Отец делал?

— Дед. Отец вырезал имена.

Торкель поднёс фонарь ближе. Мы смотрели на имена. Я знал не все. Я знал деда, прадеда, отца. Своё имя я знал. Оно было вырезано неровно, потому что мне было семь и отец держал мою руку.

— А где твои? — спросил Торкель.

— Какие мои?

— Мать. Брат. Сестра.

Я посмотрел на него.

— Они живы.

— Живы, — сказал он. — Но они ушли. Иногда это тоже надо помнить.

Он дал мне нож. Маленький, с коротким лезвием, для чистой работы.

— Режь, — сказал он. — Пока помнишь.

Я взял нож в левую руку. Рука дрожала. Я приставил лезвие к дереву ниже своего имени и провёл первую черту. Дерево было твёрдое, старое. Нож скользнул. Я нажал сильнее. Появилась линия. Потом ещё одна. Я вырезал имя Сигурда. Буквы получились кривые, и одна была лишней. Я хотел соскоблить её, но Торкель сказал:

— Не трогай. Кривое тоже помнит.

Я вырезал имя матери. Имя Халлы. Рука болела, но я не останавливался. Когда я закончил, на посохе стало тесно. Имена жались друг к другу, как люди в лодке.

— А отца? — спросил Торкель.

— Его имя уже есть.

— Он умер. Надо ещё раз.

Я посмотрел на него.

— Зачем?

— Потому что первое имя — это имя живого. Второе — имя мёртвого. Они разные.

Я вырезал имя отца ещё раз, ниже. Оно получилось глубже, чем остальные. Я резал слишком сильно. Дерево треснуло. Трещина пошла вниз, к самому краю посоха.

— Ну вот, — сказал Торкель. — Теперь он точно не забудет.

Я держал посох в руках и смотрел на трещину. Мне хотелось заплакать. Но слёз не было. Была только злость. Она была горячая, как уголь, и я держал её в груди, чтобы не остыла.

— Я скажу песню, — произнёс я.

— Скажи.

И я сказал:

— Эгиль резал руны,
резал до крови.
Сигурд держал секиру,
держал до смерти.
Астрид держала дочь,
держала до воды.
Халла держала куклу,
кукла — без лица.
Я держу посох.
Посох — тяжелее.

Торкель слушал. Когда я закончил, он долго молчал. Потом сказал:

— Это не песня.

— Я знаю.

— Это хуже, — сказал он. — Это правда.

Он повернулся и пошёл обратно. Я шёл за ним, прижимая посох к груди. Снег падал на трещину и таял в ней.

Утром мы пошли в бухту.

«Тюлень» уже стоял у причала. Это был не длинный корабль, как у ярла, а широкий, пузатый кнарр, с высокими бортами и одной мачтой. На носу была вырезана голова тюленя, и она смотрела на воду с выражением, которое я потом встречал у многих купцов: «Я всё видел, и мне за это не платят».

На палубе ходили люди. Они перекатывали бочки, носили тюки, ругались. У борта стояла девушка в синем платье, с топором за поясом. Она смотрела на море, и ветер трепал её светлые волосы. Потом она обернулась и посмотрела на меня.

Я не знал, кто она. Я не знал, что через много лет буду рассказывать внучке, как она стояла на палубе, и что я запомню это лучше, чем лицо ярла.

Она сказала:

— Ты что, собираешься подняться на мой корабль с этой палкой?

Я посмотрел на посох.

— Это не палка.

— Похоже на палку.

— Это память.

Она усмехнулась.

— У нас на корабле полно памяти. Нам нужны руки.

Я поднял обожжённую руку. Она посмотрела на неё, и улыбка исчезла.

— Ладно, — сказала она. — Одной рукой тоже можно. Но если ты упадёшь за борт, я не прыгну.

— Я не упаду.

— Все так говорят.

Она отвернулась. Я стоял на причале, с посохом и обожжённой рукой, и смотрел, как «Тюлень» готовится уйти.

За моей спиной Торкель сказал:

— Это Ингрид. Дочь Торстейна. Она будет капитаном, если отец не продаст её замуж раньше.

— Она мне не понравилась.

— Это хорошо, — сказал Торкель. — Значит, ты будешь её помнить.

Я обернулся. Старик смотрел на меня своим единственным глазом.

— Иди, — сказал он. — И не возвращайся, пока не сможешь вернуться.

Я поднялся на борт.

Глава 4. Дорога китов

Первые три дня я не был скальдом. Я был мешком.

Меня тошнило. Меня тошнило утром, днём, вечером и ночью. Меня тошнило, когда я смотрел на воду, и когда я не смотрел на воду. Меня тошнило, когда я ел, и особенно когда я не ел. Старый Кол, рулевой, говорил, что это пройдёт. Орм, мальчик лет двенадцати, говорил, что это не пройдёт никогда. Орм был худой, злой и знал всё на свете, потому что плавал с отцом с шести лет.

— Мой дядя плавал тридцать лет, — сказал он. — И всё равно блевал.

— И где он сейчас? — спросил я.

— Утонул.

Я перегнулся через борт.

Корабль был широкий и медленный. Он не шёл, а переваливался, как утка, которая объелась. Палуба была мокрая, скользкая, заваленная бочками, тюками и канатами. Мачта скрипела. Парус хлопал. Пахло смолой, рыбой и людьми, которые давно не мылись. Я думал, что море пахнет свободой. Оно пахло солёной капустой.

Торстейн Широкий был похож на свой корабль. У него был большой живот, широкие плечи и борода, в которой застревали крошки. Он говорил громко, смеялся громко и ел громко. Он не был жестоким, но и не был добрым. Он был купцом. Доброта стоила денег, а деньги он считал.

— Ты чей будешь? — спросил он меня в первый день.

— Хальвар, сын Эгиля, из Хардангера.

— Это я знаю. Торкель сказал. Я спрашиваю, чей ты теперь.

Я не понял.

— Теперь? — сказал он. — Отец мёртв, дом сгорел, мать и сестра у ярла. Ты чей? Кому ты служишь?

— Никому.

— Плохо, — сказал Торстейн. — Человек без хозяина — как корабль без руля. Крутится, а куда — не знает.

— У меня есть руль, — сказал я. — Я знаю, куда плыву.

Он посмотрел на меня. В его глазах был интерес, как у человека, который увидел на рынке странную вещь и прикидывает её цену.

— Ну и куда?

— В Тронхейм.

— Это далеко, — сказал он. — А пока мы плывём в Исландию.

— Я знаю.

— И ты думаешь, что в Исландии тебя ждёт серебро?

— Я думаю, что в Исландии меня ждут люди, которые любят песни.

Торстейн засмеялся. Смех у него был как удар в бочку.

— Песни любят все, — сказал он. — Серебро любят больше.

Он ушёл к рулевому. Орм, который слышал весь разговор, сказал:

— Он тебя проверит.

— Как?

— Заставит петь. Если песня хорошая, даст работу. Если плохая, высадит на первой отмели.

— Он так делал?

— Один раз, — сказал Орм. — С человеком из Согна. Тот пел про свою корову.

— И что?

— Корову мы съели. Человека высадили.

Я решил, что не буду петь про корову.

Ингрид не разговаривала со мной первые два дня. Она командовала. Она была молодой, но команда слушалась её быстрее, чем отца. Она знала, какой канат тянуть, когда поворачивать, где ставить парус. Она не кричала. Она говорила тихо, и люди делали. Я смотрел на неё и думал, что она похожа на нож: маленькая, острая, всегда на месте.

На третий день она подошла ко мне.

— Ты бесполезен, — сказала она.

— Я знаю.

— Нет, ты не знаешь. Ты думаешь, что ты бесполезен, потому что у тебя больная рука. Это ерунда. Ты бесполезен, потому что не смотришь.

— Куда смотреть?

— На воду. На парус. На людей. Ты смотришь внутрь себя, как будто там что-то интересное.

— Там много интересного.

— Там твоя беда, — сказала она. — Она не утонет, если ты будешь на неё смотреть. Она утонет, если ты будешь работать.

Она сунула мне в руки ведро.

— Вычерпывай.

Я вычерпывал. Вода была холодная, тяжёлая. Одной рукой было неудобно. Я прижимал посох к борту коленом, чтобы не упал. Ингрид стояла рядом и смотрела.

— Кто тебя научил так держать ведро?

— Никто.

— Видно.

Она взяла мою здоровую руку и переставила пальцы.

— Так. И спиной. Не руками. Спиной.

Я попробовал. Получилось лучше.

— Спасибо, — сказал я.

— Не благодари. Ты работаешь на меня. Я не люблю, когда мои люди тонут.

Она ушла. Орм, который снова всё слышал, сказал:

— Она тебя не высадит.

— Почему?

— Она с тобой разговаривает. С теми, кого высадят, она не разговаривает.

На пятый день я спел впервые.

Вечер был ясный, ветер стих, море стало гладким, как стекло. Команда сидела на палубе, ела вяленую рыбу и пила пиво. Торстейн поднял рог и сказал:

— Ну, сын Эгиля. Покажи, за что Торкель взял с тебя плату.

— Он не брал плату.

— Тем хуже. Значит, я заплачу.

Он засмеялся. Люди засмеялись. Я встал. Посох я держал в руке, хотя он мне был не нужен. Мне нужно было за что-то держаться.

Я посмотрел на корабль, на людей, на море. Я хотел сказать что-то большое, про богов и судьбу. Но в голове было только то, что я видел.

И я сказал:

— Тюлень плывёт по дороге китов,
брюхо полно, а трюм пустой.
Торстейн Широкий считает волны,
а волны считают Торстейна.

Ингрид стоит у руля,
и море глядит на неё,
как пёс на хозяйку,
что забыла его покормить.

На палубе стало тихо. Я подумал, что сейчас меня высадят. Потом Орм засмеялся. За ним засмеялся Кол. За Колом — все остальные. Торстейн хохотал так, что чуть не уронил рог. Ингрид смотрела на меня, и в её глазах было что-то среднее между злостью и удовольствием.

— Пёс, значит, — сказала она.

— Хороший пёс, — сказал я. — Верный.

— И голодный.

— Это ты сказала, не я.

Она бросила в меня верёвкой. Я поймал её здоровой рукой. Команда заревела.

Торстейн вытер глаза и сказал:

— Ладно. Живи. Будешь петь на стоянках. И в Исландии тоже. У меня там должники, которым полезно послушать про себя.

Так я стал корабельным скальдом. Плата была простая: еда, место у мачты и обещание не высаживать до Исландии.

На седьмой день начался шторм.

Он пришёл с запада, быстро, как зверь из тумана. Ветер ударил в парус, и корабль лёг набок. Бочки покатились. Люди закричали. Торстейн рвал за канат, и его голос был слышен даже сквозь ветер.

— Уберите парус! Живо!

Мачта скрипела так, будто хотела сломаться. Волны были выше борта. Они перекатывались через палубу, холодные, тяжёлые, как камни. Я схватился за мачту и держался. Вода ударила мне в лицо, и на секунду я перестал видеть.

— Ведро! — закричала Ингрид. — Хальвар, ведро!

Я не понял. Потом увидел: вода в трюме. Корабль набирал воду. Если её не вычерпывать, мы утонем.

Я схватил ведро. Работал одной рукой, потом обеими, забыв про боль. Обожжённая кожа лопнула, но я не остановился. Рядом со мной вычерпывал Орм. Его лицо было белое, губы синие, но он работал.

Волна ударила сбоку. Корабль накренился. Я потерял опору и полетел к борту. Внизу была чёрная вода. Я успел подумать: «Вот и всё». Потом чья-то рука схватила меня за пояс и рванула назад. Я упал на палубу. Надо мной стояла Ингрид. Её волосы были мокрые, прилипли к лицу, и она тяжело дышала.

— Я же сказала, что не прыгну, — прокричала она. — Я не сказала, что не поймаю.

Я хотел ответить, но вода снова накрыла нас.

Шторм длился всю ночь. К утру ветер стих. Море ещё волновалось, но уже не так зло. Мы сидели на палубе, мокрые, измученные, и смотрели, как из-за туч выходит солнце. Оно было бледное, как больной ребёнок, но оно было.

Торстейн пересчитал людей. Все были живы. Один гребец сломал руку. Орм потерял башмак. Я потерял посох.

Я не сразу понял. Я полез за пазуху, где обычно держал его, и не нашёл. Потом вспомнил: я привязал его к мачте, когда начался шторм. Я подбежал к мачте. Верёвка была на месте, но посох исчез.

Я искал его по всей палубе. Я заглядывал под бочки, в трюм, в канаты. Его нигде не было. Море забрало его.

Я сел на палубу и закрыл лицо руками. Я не плакал. Я просто сидел. Внутри было пусто, как в трюме после шторма.

Ингрид нашла меня там.

— Что случилось?

— Посох.

Она посмотрела на мачту, потом на меня.

— Утонул?

— Утонул.

Она помолчала. Потом сказала:

— Твои имена всё равно остались.

— На дереве.

— Нет, — сказала она. — В тебе. Ты же их помнишь.

— Память — это не камень.

— Камень тоже не вечен, — сказала она. — Вон, твой дом сгорел, а камень остался. Только кому он нужен?

Я не ответил.

Она села рядом. От неё пахло солью и мокрой шерстью. Она смотрела на море.

— Моя мать умерла, когда мне было девять, — сказала она. — Я помню её руки. Не лицо. Руки. Она месила тесто. Знаешь, как она это делала? Зло. Будто тесто было виновато.

Я повернулся. Она улыбнулась, но невесело.

— Я потом сама так делала. И знаешь, что? Тесто получалось лучше.

— Почему ты мне это рассказываешь?

— Потому что ты сидишь и жалеешь себя, — сказала она. — А я не люблю, когда мои люди жалеют себя. Это бесполезно.

Она встала.

— Пойдём. Нужно починить парус.

Я пошёл за ней. На следующий день я вырезал новый посох из обломка весла. Он был короче и легче. Я не стал вырезать на нём имена. Я решил, что буду носить их в голове, пока не найду место, где их можно оставить навсегда.

На двенадцатый день мы увидели землю.

Она появилась на горизонте, серая, неровная, как спина спящего зверя. Над ней летали птицы. Орм закричал:

— Исландия!

Команда зашумела. Торстейн встал на носу и смотрел вперёд. Ингрид стояла у руля, и ветер дул ей в лицо.

Я смотрел на землю и думал: здесь я стану кем-то другим. Здесь меня никто не знает. Здесь я смогу научиться тому, чего не умею.

Я не знал, что Исландия научит меня не тому, чему я хотел.

Глава 5. Каменный холл

Исландия встретила нас дождём.

Дождь был не такой, как дома. Дома дождь шёл стеной, а здесь он висел в воздухе, мелкий, частый, как рыбья чешуя. Он не падал, а стоял. Он забирался в одежду, в волосы, в сапоги, в мысли. Я думал, что хуже быть не может. Потом мы сошли на берег, и я понял, что может.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.